

ХОДОРЕВ С.В.



**СПЕЦШКОЛА:
ПОКА ЖИВОЙ**

Сергей Ходорев

Спецшкола: Пока живой.

«Автор»

2026

Ходорев С.

Спецшкола: Пока живой. / С. Ходорев — «Автор», 2026

Сергею девять лет, когда отец привозит его в спецшколу и уходит, не оглянувшись. За забором с колючей проволокой — сто пятьдесят детей от девяти до четырнадцати. Каждый со своей историей, каждая тяжелее предыдущей. Сергей быстро усваивает правила: не показывай страх, не доверяй, не будь жадным. Но находит и своё: гитара, песни Петлюры, кукольный театр, книги Достоевского. Когда он поёт — забывает про забор. Когда читает — понимает, что он не один. Но за талантом — боль. Родители не приезжают, не пишут, не звонят. А злость — это всё, что у него есть. «Спецшкола: Невольник системы» — книга о детях, которых система списала, а жизнь — не успела понять

© Ходорев С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Ходорев

Спецшкола: Пока живой.

Спецшкола:
ПОКА ЖИВОЙ

Глава 1. Побег

Сегодня для Сергея ничего не предвещало перемен. Он встал утром по распорядку, сходил в туалет покурить, умылся, почистил зубы. Обычный школьный день, один из тысяч таких же. Солнце было в окно, и пылинки кружились в луче, золотые, мелкие, будто кто-то рассыпал пыльцу. Весна уже чувствовалась во всём: в том, как снег по краям дорожек почернел и осел, в том, как капли с крыши стучали по жестяному отливу ровно, как метроном, в том, как воздух за окном стал прозрачнее, будто кто-то протёр стекло изнутри. До подъёма оставалось около двадцати минут, он спокойно заправил кровать. Погода стояла ясная, весенняя; скоро должен был быть его день рождения, но Сергей о нём почти никогда не вспоминал. День рождения — чужой праздник. Праздник тех, у кого есть кому поздравить, кому радоваться, кому печь торт и говорить: «С днём рождения, сынок». У него этого не было. Не было столько лет, что он и не помнил, было ли вообще. Может, в раннем детстве, до всего, до отца, до милиции. Может, тётя Надя что-то делала, пекла что-то, говорила: «С днём рождения, Серёжа». Может, и было. Но он не помнил. А что не помнил, того и не было. Для него — не было.

В коридоре уже слышались шаги дежурного, тот ходил вдоль дверей, постукивая ключом по перилам. Звук был металлический, ритмичный, привычный, как будильник. Тик-тик-тик. Дежурный шёл, и каждый удар ключа о перила означал: скоро подъём, скоро команда, скоро все встанут, и начнётся день. Такой же, как вчера. Такой же, как завтра. Сергей быстро поправил одеяло, разгладил складку ладонью, проверил, ровно ли. За кривую заправку можно было получить замечание, а три замечания за неделю — лишение прогулки. Прогулка была единственным временем, когда можно быть на улице, когда можно дышать не казённым воздухом, когда можно смотреть не на стены. Терять прогулку нельзя. Поэтому кровать была заправлена идеально, одеяло ровное, как линия, подушка на месте, простыня натянута. Он уже давно знал все правила и все дыры в них. Знал, где можно, где нельзя, где подождать, где просочиться. Это знание пришло не из книг, не от воспитателей, а от времени. От долгого, нудного, безжалостного времени, которое учит тому, чему никакие книги не научат.

— Серёг, ты чё так рано? — сонно пробубнил сосед по койке, Лёха, не открывая глаз. Лёха лежал на боку, свесив руку с кровати, и лицо у него было расслабленное, мягкое, детское. Во сне Лёха был ребёнок. Маленький, беззаботный, без спецшколы, без забора, без всего. Сон уравнивал. Во сне все были дети, все дома, все свободны.

— Не спится, — ответил Сергей шёпотом. — Тебе-то что, спи давай.

— Ладно, ладно... — Лёха перевернулся на другой бок, натянул одеяло на голову и затих. Через минуту захрапел. Тихо, ровно, как кот. Лёха умел спать, и Сергей ему завидовал. По-настоящему, белой завистью. Лёха засыпал мгновенно, спал крепко, не видел снов или не помнил. А Сергей спал плохо. Всегда. С того первого дня. Спал чутко, просыпался от любого звука, от скрипа, от шага, от ничего. Тело не расслаблялось. Тело помнило. Тело знало: нельзя расслабляться, нельзя доверять, нельзя спать. Можно лежать, можно закрывать глаза, но спать

нельзя. Потому что пока ты спишь, что-то может случиться. Что-то может прийти. И ты не успеешь. Не успеешь встать, не успеешь защититься.

Он посидел на кровати минуту, может, две. Посмотрел на свои руки. Жёлтые от табака, с ободранными костяшками, с мозолями от струн. Руки, которые рисовали, которые делали кукол, которые крали, которые жили. Его руки были единственным, что по-настоящему было его. Всё остальное казённое: кровать, одеяло, подушка, пижама. Даже имя — наполовину. «Серый» — это не Сергей. Серый — это спецшкольный. Серый — это здесь. А Сергей — это там. Дома. Если дом есть. Если был.

Сергей встал, натянул пижаму, застегнул верхнюю пуговицу. Подошёл к окну. За окном утро, весеннее, светлое, с небом. Небо было синее. Синее, не серое. Впервые за долгое время. С белыми облаками, с солнцем, которое уже встало и светило на полную. Свет ложился на подоконник полосой, тёплой, жёлтой, как мёд. Сергей посмотрел на него и ничего не подумал. Просто посмотрел. Свет был. И всё. Не радовал, не грел, не обнадеживал. Просто был, как забор, как каша, как подъём.

Потом отошёл. Не надо. Не сейчас. Думать опасно. Думать — значит хотеть. Хотеть — значит страдать. Страдать — значит слабеть. А слабеть нельзя.

После завтрака всё шло своим чередом: никто не ожидал никаких происшествий. Завтрак был. Каша была. Овсянка, серая, вязкая, с комками, с плёнкой на поверхности. Он съел молча, быстро, не чувствуя вкуса. Вкус давно не чувствовался. Еда была топливом, не удовольствием, не радостью. Заправился и пошёл. Ложка стучала по тарелке. Сосед справа чавкал. Сосед слева молчал. Кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то шептал. Столовая жила, шумела, была. И никто не знал. Никто не подозревал, что этот день будет другим.

Уроки начались по расписанию. Первый — математика. Сергей сидел на задней парте, рисовал в тетрадке. Не слушал. Или слушал, не слышал. Или слышал, не понимал. Или понимал, не хотел. Математика — это числа, числа — это порядок, порядок — это система. А он не хотел системы. Он был в системе. Он был системой. И не хотел.

Учительница литературы, Марья Петровна, женщина средних лет с вечными очками на кончике носа, попросила Сергея вынести ведро с водой на улицу. Задание было несложным, тем более что он уже закончил уроки. Марья Петровна была не страшная, не злая. Из тех, кто не давит, кто просит, а не требует. Кто говорит «будь добр», и в этих двух словах — уважение. Маленькое, тихое, но уважение. Она видела в нём человека. Не контингент, не воспитанника, не номер. А человека. И Сергей это чувствовал и отвечал. Не всегда, не полностью, но отвечал. «Хорошо, Марья Петровна». Не «ну ладно», не «ща», не «надо значит надо». А «хорошо». Потому что она — «будь добр». И он — «хорошо». Обмен. Маленький, человеческий, но обмен.

— Серёжа, будь добр, отнеси вот это, — она кивнула на алюминиевое ведро, наполненное до краёв. Вода в нём чистая, прозрачная, и в ней отражение потолка, лампы, окна. Ведро старое, с вмятиной на боку, с ржавчиной на ободке, но ведро. Тут не выбирают. Тут берут что дают. — Только аккуратно, не разлей.

— Хорошо, Марья Петровна, — ответил Сергей. Взял ведро. Тяжёлое, но одно можно. Одно нормально. Он вышел из класса. Коридор пустой, все на уроках. Тихо. Только его шаги

гулкие, звонкие, по кафельному полу. И ведро в руке. Вода плещется, мелко, тихо, будто шепчет. Вода всегда говорит. Вода не молчит. Она журчит, плещет, шепчет. Вода живая.

Он шёл по коридору медленно, не торопясь. Зачем торопиться? Куда? Всё одно, всё равно. Он нёс ведро и не думал. Голова была пустая, чистая, как то небо за окном. Синяя, пустая. И в этой пустоте что-то шевелилось. Что-то копошилось. Что-то ждало.

По дороге он зашёл в туалет перекурить. Привычка, рутина. К тому моменту у него уже были налажены «поставки» табака через кладовщицу столовой, тётю Зину. Тётя Зина была женщина-договор, женщина-сделка. Она не помогала, она меняла. Ты мне — сахар, я тебе — сигареты. Ты мне — конфеты, я тебе — табак. Честно, понятно, без эмоций. Бизнес. Маленький, школьный, но бизнес. Тётя Зина не была злой, не была доброй. Она была практичная, из тех, кто умеет. Умеет договориться, умеет найти, умеет достать. А достать в спецшколе — это талант. Талант ценнее рисования. Талант ценнее кукол. Талант ценнее всего. Потому что без табака плохо, а с табаком — можно. И тётя Зина была «можно».

Та не отказывала: за пачку сахара или пару конфет она приносила из города мятные сигареты, дешёвые, крепкие, от которых горчило в горле, но эффект был что надо. Эффект был то, что нужно. Не вкус, не аромат. Эффект. Голова плывёт, руки теплеют, мысли замедляются. И можно. Можно жить, можно терпеть, можно ждать. Ждать чего? Он не знал. Но ждать. Как все. Как все здесь. Ждут.

Глава 2. Знакомство

К вечеру он добрался до огромного вокзала — такого он ещё ни разу не видел. Здание с высокими окнами, вывеска, галдящая толпа у входа, чемоданы, тележки, объявления по громкоговорителю. Здесь сразу бросались в глаза беспризорники: они просили деньги, многие были токсикоманами, прятали руки под куртками. Они попрошайничали, жили своей замкнутой жизнью. Подойти просто так Сергей не мог — те тоже недоверчивы. Он дождался момента, когда они собрались вместе, вдали от толпы, и завёл разговор.

Старший оглядел его: не боишься, но и не нападаешь.

— Я Серёга. Из спецшколы сбежал. Сегодня.

Самый старший — лет шестнадцати, с выбритым затылком и курткой на размер больше — посмотрел на него с прищуром. Лицо у него было узкое, с выступающими скулами, и на щеке, под глазом, белел старый шрам, тонкий, как нитка. Руки были в карманах, и он не вынимал их, и от этого казалось, что он держит что-то. Может, нож. Может, просто кулаки.

— Из какой спецшколы? — спросил он. Голос был низкий, спокойный, как у взрослого. Не злой, но и не дружелюбный. Проверочный.

— Далеко. Не местная, — ответил Сергей, стараясь не выдать волнения. Голос держал ровно, как на допросе у Татьяны. Только тут Татьяны не было, и допрос был настоящий. — Мне ночевать негде.

— А ты чё в форме? — хмыкнул другой, помладше, с грязными светлыми волосами, падающими на глаза. Он сидел на корточках, спиной к стене, и крутил в пальцах окурочок. — Как чиновник.

— Знаю, — Сергей даже улыбнулся. Улыбка вышла кривая, но настоящая. — Сам в шоке.

— Ага, — кивнул блондин, затянув в окурочок последний дым. — Типа, заседание покинул, по срочным делам.

Парни захихикали. Не зло, так, по-свойски, чуть отпустили. Старший не засмеялся. Он смотрел.

Ребята переглянулись. Старший, которого звали, как выяснилось, Толик, окинул его ещё раз взглядом и кивнул:

— Ладно. Оставайся, чем сможем — поможем. Только правила знаешь? Наши вещи не трогаешь, не врешь, не стучишь.

— Понял, — кивнул Сергей.

— И не высывайся без спроса. Тут менты шастают часто.

С тех пор он ходил за ними хвостиком: кто-то тырил мелочь, кто-то просил милостыню. Перед закрытием магазина одного послали купить лак «Красное дерево» — им дышали, другого — за полиэтиленовыми пакетами.

— Димон, сбегай в «Продукты», лаку возьми. «Красное дерево», — сказал Толик, протянув мелочь. — А ты, — он кивнул Сергею, — с ним пойдёшь, подсобишь.

— Ага, — кивнул тот, кого звали Димон. — Пошли, чиновник.

Они дошли до круглосуточного ларька. Димон забежал внутрь, минут через пять вышел с двумя банками лака, засунутыми за пазуху.

— Взяли? — спросил Сергей.

— А ты думал? — Димон усмехнулся, похлопав по куртке. — Продавщица там своя, тётка Нина. За пачку сигарет глаза закрывает.

Купив еды — хлеб, колбасу, пару пакетов сока — компания направилась к котельной рядом с депо: большие горячие баки всегда давали тепло, сверху натягивали мусорные пакеты — летом так можно было жить прямо на улице. Иногда приходила милиция, гоняла их, но договаривались легко — приходилось платить, ведь малолетки часто имели при себе приличную сумму денег.

У котла они перекусили, разлили лак по пакетам.

— Держи, — Толик протянул Сергею надутый пакет с мутным пятном лака внутри. — Попробуй. Сразу полегчает.

Сергей посмотрел на пакет. Повертел в руках. Пахло химией — резко, сладковато, тошнотворно.

— Не бойся, не отравишься, — сказал Димон, уже вдыхавший из своего пакета. — Два-три вдоха, и всё. Настроение — кайф.

Сергей впервые попробовал этот красный лак — вдохнул пару раз, закружилась голова, настроение поднялось. Ещё несколько глубоких вдохов — и мир исчез: появились сказочные персонажи, яркие картинки, окружающее пропало. Котельная, голоса ребят, запах гари и жжёного пластика — всё растворилось в калейдоскопе цветных пятен, в которых что-то двигалось, дышало, манило.

Так закончился его первый день побега — он уснул, погружённый в иллюзорные видения, с мешком картошки под головой и запахом лака «Красное дерево».

Глава 3. Хлебные места

Следующий день начался нормально — всё как обычно. Серое утро навалилось на подвал, как мокрое одеяло: где-то наверху загрохотал первый трамвай, потом второй, и снова стало тихо. Сергей открыл глаза первым — как всегда. Потолок был сырой, со свода то и дело срывалась капля и падала прямо в лужицу у входа. Ритмично, как метроном. Он лежал и слушал, как вокруг сопят пацаны — кто-то свернулся калачиком, кто-то развалился на спине с открытым ртом, кто-то во сне бормотал что-то невнятное.

— Толя, — негромко позвал Сергей. — Толик, вставай.

Толя не отозвался. Он спал, обняв какую-то тряпку, которую изредка подтягивал к себе повыше, будто подушку. Сергей толкнул его в плечо.

— А? Чего? — Толя дёрнулся, уставился мутными глазами. — Серый, сколько времени?

— Пора. Светло уже.

— Ладно... — Толя сел, потёр лицо ладонями, зевнул так, что хрустнула челюсть. — Опять на маршрут?

— А куда ж ещё, — Сергей уже наматывал на шею шарф, который служил ему и шарфом, и полотенцем, и иногда подушкой. — Сегодня поезда с утра должны пойти плотно. Может, чего дадут.

Один за другим пацаны начали подниматься. Кто-то матерился сквозь зубы, кто-то молча натягивал на себя всё, что нашёл. Сашка — самый младший, ему было девять — спросил сонно:

— А есть чё?

— Нет, — ответил Сергей. — Поэтому и встаём.

Это было простое правило: не поел с вечера — вставай и иди добывай. Никто не ныл, не канючил. Все понимали: сегодня не найдёшь — ляжешь спать голодным. А завтра может быть ещё хуже.

Перед уходом Сергей оглядел всех — пересчитал глазами, как делал каждое утро.

— Так. Сашка — со мной. Толик — ты со Столькой берёшь Петьку. Остальные — парами, как вчера. Вечером — тут. Все поняли?

— Поняли, — буркнул кто-то.

— Сашка, ты слышал? — Сергей присел перед мальчишкой, посмотрел в глаза. — Рядом со мной. Не отстаешь. Понял?

Сашка кивнул, глотнул. Он был маленький, щуплый, с обветренными губами и постоянной полоской соплей под носом. Сергей относился к нему как к младшему брату — или как к тому, кем мог бы быть сам, если бы всё пошло ещё хуже.

Сразу же все пошли на «хлебные места» с утра: туда, где можно было что-то подобрать у поездов или у «арьков» — так называли беспризорников, которые тусовались на вокзале и у рынков. Пацаны уже знали, где чего брать, в какое время какой поезд стоит, на какой платформе можно прошмыгнуть между вагонами, пока никто не видит, где продавщицы с лотков отворачиваются на секунду, а где сердобольные бабки кладут в пакет с хлебом лишний пирожок «для внука», зная, что никакого внука нет.

Сергей с Сашкой двигались вдоль путей. Сашка бежал чуть позади, стараясь не отставать. Воздух пах соляжкой и ржавым железом — этот запах Сашка ненавидел, но привык.

— Серый, а вон тот поезд — длинный, — Сашка потянул его за рукав.

— Вижу. Давай вдоль последнего вагона. Ты смотришь налево, я направо. Если кто — свистишь. Как договаривались.

— А если поймают?

— Не поймают. Не отставай.

Они шли вдоль состава быстро, но не бегом — бег привлекает внимание. Сашка высматривал открытое окно, приоткрытую дверь, забытый на ступеньках пакет. Ничего. Сергей молча двинулся дальше — к следующему пути.

У третьего пути повезло. В тамбуре одного из вагонов дверь была чуть приоткрыта — видно, проводница вышла и забыла. Сергей кивнул Сашке — стой тут, следи. Сам скользнул внутрь. Через минуту вылез: в руках два куска хлеба, половина булки и стеклянная бутылка с остатками какого-то компота.

— Держи, — протянул он Сашке. — Ешь, но не всё. Оставь на потом.

— А ты?

— Я потом. Ешь.

Сашка вгрызся в хлеб, как волчонок. Сергей смотрел на него, и лицо у него было спокойное, но в глазах что-то мелькало — не жалость, нет. Скорее, тихая злость на то, что так живётся, и тихое обещание себе, что когда-нибудь будет иначе.

Глава 4. Вера и Нина

В их общине были ещё две девчонки — Вера и Нина. Они тоже были прикольные, только прикольные по-разному.

Вере было шестнадцать. Она была старшая, тихая, с тёмными жидкими косичками и глазами, которые смотрели на мир с каким-то странным, взрослым недоумением — как будто она всё понимала, но не могла понять, почему всё именно так. Вера не болтала лишнего, не лезла вперёд, но когда надо было что-то решить — она всегда придумывала что-то дельное. Она умела шить — сама научилась, сидя рядом с какой-то бабкой на рынке, — и иногда чинила пацанам куртки, за что те носили её на руках, в прямом смысле: подхватывали и несли, пока она визжала и смеялась.

Нине было одиннадцать, и она была совсем другая. Мелкая, резкая, с длинными тёмными косами, которые каждое утро тщательно заплетала. Нина курила, материлась круче любого пацана и могла дать в глаз так, что мало не покажется. Она тусовалась со Столькой — тот был постарше, серьёзный, и между ними была какая-то своя молчаливая договорённость, которую никто не обсуждал. Нина была из тех, кто не жалуется. Вообще. Никогда. Даже когда было видно, что ей плохо — по сжатым кулакам, по белым костяшкам пальцев, по тому, как она отворачивалась и закуривала, — она всё равно молчала. И только иногда, глубокой ночью, когда думала, что никто не слышит, тихо всхлипывала в угол.

В тот день Нина и Вера вернулись раньше всех. Нина принесла связку бананов — где достала, никто не спросил. Вера держала в руках плюшевого медведя с одним глазом — нашла, наверное, в мусорке, но несла его бережно, как живого.

— О, Нина! — обрадовался Сашка, увидев бананы. — Дай один!

— А «спасибо» кто говорить будет? — Нина швырнула ему банан, но без злости — скорее, по привычке. — Жри, только не давься.

— Спасибо, — Сашка уже чистил банан, торопясь.

— Вера, а ты чего с медведем ходишь? — спросил Толя.

Вера прижала медведя к себе.

— Он красивый, — сказала она тихо.

— У него один глаз.

— Ничего. Зато он не пьёт и не бьёт.

Это было сказано так просто, что стало тихо. Пацаны переглянулись. Толя отвёл взгляд. Даже Нина замолчала на секунду, затушила сигарету о стену и сказала, не глядя:

— Правильно, Верка. Правильно.

Глава 5. Вечер. Гитара

До вечера занимались так же, как всегда — своими делами, крутились-вертелись. К вечеру вернулись в подвал, стянулись по одному, по двое. Кто-то принёс еду, кто-то ничего, кто-то принесённое уже успел съесть по дороге — и виновато молчал.

Когда все собрались, Сергей подсел к Толе.

— Толь, — сказал он негромко. — Слушай. Возьми гитару у Кочегарова.

Толя поднял брови.

— У Кочегарова? Серый, ты что, играть умеешь?

— Умею.

— Серьёзно? — Толя уставился на него, как будто Сергей сказал, что умеет летать. — Ты же никогда...

— Просто не говорил. Возьми, а?

Толя посмотрел на него, потом на остальных, потом снова на Сергея.

— Ну ладно. Кочегаров, небось, потребует чего-нибудь взамен.

— Дай ему что найдёшь. Или скажи — я отдам.

— Ладно, — Толя поднялся, отряхнул колени. — Сейчас схожу.

Когда Толя ушёл, Нина повернулась к Вере:

— А Серый, оказывается, гитарист.

— Ага, — Вера улыбнулась. — Я и не знала.

— Думала, он просто фуфло толкает, — Нина хмыкнула. — Посмотрим, что он выдаст.

Вера ничего не ответила, только погладила медведя по голове, сидя в углу.

Через полчаса Толя вернулся. Гитара была старая, потёртая, с облезшим лаком и струной, которая гудела сильнее остальных — но звучала. Кочегаров дал без вопросов — может, из любопытства.

— Держи, — Толя протянул гитару Сергею. — Только аккуратно. Сказал, если сломаешь — убьёт.

— Не убьёт, — Сергей принял гитару, сел, положил её на колено, пальцами тронул струны. Звук был негромкий, глуховатый, но живой. Сергей чуть подкрутил колок — и заиграл.

Первая мелодия была неторопливой, тягучей. Пальцы у него были жёсткие, обветренные, но ставили аккорды чисто, без фальши — было видно, что когда-то он играл много и серьёзно. Пацаны притихли. Даже те, кто обычно ржал и подкалывал, замолчали и уставились на его руки.

И Сергей запел.

«Генералы песчаных карьеров»

Я начал жизнь в трущобах городских,
И добрых слов я не слышал.
Когда ласкали вы детей своих —
Я есть просил, я замерзал.

Вы, увидя меня, не прячьте взгляд:
Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват!
За что вы бросили меня? За что?
Где мой очаг? Где мой ночлег?
Не признаёте вы моё родство...
А я ваш брат! Я человек!

Вы вечно молитесь своим богам,
И ваши боги всё прощают вам.
Край небоскрёбов — был роскошный вид,
Из окон бьёт слепящий свет.
О если б мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за всё ответ!
Откройте двери, люди, — я ваш брат!
Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват!
Вы знали ласки матерей родных,
А я не знал. И лишь во сне,
В моих мечтаньях детских золотых,
Мать иногда являлась мне.
О мама, если б найти тебя,
Была б не так горька моя судьба...

Голос у него был негромкий, с хрипотцой, но шёл ровно, как рельса — без надрыва, без позы. Так поют не для зала, а для себя, но так, что рядом сидящие слышат каждое слово и не могут отвернуться.

Сашка перестал жевать. Рот у него был открыт, и кусок хлеба так и остался в руке. Он смотрел на Сергея и не моргал.

Нина стояла у стены, скрестив руки на груди. Лицо не менялось, но пальцы сжались — костяшки побелели, как всегда, когда она держала себя.

Толя опустил голову. Он сидел рядом с Сергеем, и глаза у него заблестели — он моргал часто-часто, пытаясь удержать, но не мог. По щеке прошла тень — не слеза ещё, но уже близко.

Последний аккорд повис в воздухе, как дым. Сергей не сразу опустил руки со струн — дал звуку догореть.

Тишина.

Потом Сашка сказал тихо, почти шёпотом:

— Это про нас, да?

— Про нас, — ответил Сергей. — Про всех нас.

Толя первым не выдержал. Он ткнул кулаком в глаз, шмыгнул носом и сказал хрипло:

— Блин, Серый... Ты чего так... — и не договорил. Обнял Сергея, прямо с гитарой, неловко, больно прижав гриф к ребру.

— Э, аккуратно! — Сергей засмеялся, но голос дрожал. — Гитару сломаешь — Кочегаров убьёт.

Но никто не смеялся. Один за другим пацаны поднимались и подходили — кто обнимал, кто просто клал руку на плечо и стоял так. Сашка прижался к Сергееву боку и всхлипывал открыто, без стеснения — он был маленький и ещё не научился прятать.

Петька — молчаливый, жилистый пацан тринадцати лет — стоял в стороне, смотрел в стену и кусал губы. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Я тоже не помню маму. Вообще. Даже лица не помню.

— Я тоже, — тихо сказал кто-то.

— И я.

И стало понятно, что в этом подвале нет ни одного человека, который помнил бы мать. Или у которого она была.

Глава 6. Вторая песня

Когда все немного притихли и расселись, Сергей снова взял гитару. Посидел, перебирая струны, словно раздумывая. Пальцы бегали по ним легко, привычно, как по клавишам, и звуки ложились один на другой — тихие, короткие, неуверенные. Не мелодия ещё, а намёк на мелодию. Как разговор, который ещё не начался, но уже хочется начать. Струны гудели, отзывались, и в этом гудении было что-то живое, тёплое, как дыхание. Гитара была чужая, не его, но

руки помнили. Руки знали, куда поставить, какой зажать, какой отпустить. Руки были его, и это было единственное, что было его по-настоящему.

Потом посмотрел на Нину и Веру — мелькнула в глазах его какая-то хитринка, чуть заметная. Не усмешка, не вызов, а что-то детское, мальчишеское, чего в нём обычно не было. Как будто на секунду из-под корки, из-под забора, из-под всех лет проступил тот мальчишка, который мог бы быть, если бы всё было иначе. Тот, который шутил бы, смеялся, дразнил девчонок. Тот, которого не было.

— Хотите, ещё одну спою? — спросил он.

— Давай, — Нина пожала плечами, будто ей было всё равно. Но не ушла. Стояла там же, у стены. И не закурила, хотя обычно, когда ей было «всё равно», она закуривала. Сейчас не закурила. Значит, не всё равно.

— Только эта другая, — предупредил Сергей. — Посерьёзнее будет.

— Ну пой уже, — поторопил Толя, утирая нос рукавом. — Чего тянуть.

— Толян, ты не ной, — Димон толкнул его локтем. — Человек настраивается. Это, между прочим, искусство.

— Какое ещё искусство? — Толя скривился.

— Такое. Серый, скажи им.

Сергей не ответил. Он чуть опустил голову, прижал струны ладонью, и шум стих. Все поняли: сейчас. Вера подняла взгляд от медведя. Сашка подвинулся ближе. Даже Столька, который обычно стоял в стороне, чуть повернул голову.

Сергей кивнул — себе, не им — и начал.

На этот раз мелодия была другой — медленнее, тяжелее, с длинными паузами между строчками. Как будто каждый аккорд давался с усилием, как шаг по грязи. Струны звучали глухо, низко, и от этого звука в подвале стало теснее, темнее, будто стены сдвинулись. Свет от лампочки дрогнул — или показалось — и лёг на лица косо, неровно, тенями обрисовав скулы, глазницы, впадины. Все стали старше. Все стали теми, кем были на самом деле: не пацанами и девчонками, а людьми, которые видели слишком много.

Глава 7. «Тюремный роман»

Строгий суд, и на скамье парнишка,
Лежит он, подальше светит вышка.
Погубил он жизнь свою немало,
Не начать её уже сначала.

Вера подняла голову от медведя. Глаза у неё были уже мокрые — с первой песни, но она молчала, только сильнее прижимала игрушку. Пальцы её, маленькие, с обломанными ногтями, нашли плюшевое ухо медведя и держались за него, как за край. Она смотрела на Сергея и не

моргала, и в лице её было что-то, чего не должно быть у шестнадцатилетней: узнавание. Она узнавала. Не сюжет — сюжет был не про неё. Она узнавала чувство. То чувство, когда жизнь погублена, и не начать сначала. Она знала это чувство. Она жила с ним.

Как же так случилось — не пойму,
Говорила девица ему:
«Милый мой, ну что ж ты натворил?
Без тебе мне белый свет не мил».

— Ой, — Вера тихо охнула и закрыла рот ладонью. Звук был тонкий, короткий, как писк. Она тут же отдернула руку, будто испугалась собственного голоса. Но глаза были уже мокрые, и нижняя губа дрожала, и она прикусила её, чтобы не дрожала.

Димон покосился на неё, хотел что-то сказать, но Столька покачал головой. Не сильно, не заметно. Просто: не надо. Димон закрыл рот. И снова уставился на Сергея.

Вот судья и вывел приговор,
В деле расписался прокурор.
Подошёл конвой и повели,
В спецфургоне на этап везли.
Едет спецфургон, в нём тишина,
С глаз парнишки капала слеза.
Прошептал он тихо: «Ты прости,
В этом ты себя уж не вини».

Голос Сергея стал тише. Он пел почти шёпотом, и от этого шёпота было тяжелее, чем от крика. Крик можно не слушать. Шёпот — нельзя. Шёпот лезет внутрь, просачивается, как вода сквозь щель, и нет от него защиты. Пацаны сидели неподвижно. Димон перестал шмыгать носом. Петька замер с куском хлеба в руке и забыл про него. Хлеб лежал в ладони, ненужный, забытый.

Нина стояла неподвижно. Руки по-прежнему скрещены, лицо каменное. Но Столька, стоявший рядом, покосился на неё и тихо отодвинулся — не от страха, а чтобы дать ей место, если понадобится. Он знал её. Он знал, что когда Нина каменеет, это значит, что внутри всё трясётся. И что если не дать ей место, она может взорваться — больно, для себя, для стены, для кого угодно.

Прибыл к месту назначения он,
Стала жизнь его как будто сон.
За тюремный выведут за двор —
Будет там исполнен приговор.
На свиданку в строгую тюрьму
Приезжает девушка к нему.
Стала умолять да унижаться:
«Дайте мне с любимым попрощаться!»

Сашка не выдержал. Он сидел, обхватив колени руками, и раскачивался, как на качелях, и лицо у него было открытое, незащищённое, детское. Девять лет, и он ещё не умел прятать. Не

научился. Может, и не научится, если повезёт — останется таким, открытым, и будет страдать от этого, но будет живым. Настоящим.

— Серый, а что будет? Она его увидит? — Сашкин голос был тонкий, с хрипотцой, и в нём была не тревога за героев песни, а тревога за себя. За всех. За то, что любовь может кончиться так. Что кто-то кого-то любит, а потом — спецфургон, вышка, приговор. И всё. И ничего нельзя.

— Увидит, — ответил Сергей, не прерывая игры. — Увидит.

Вот свиданки время истекло,
Из камеры конвой вывел её.
Громким гулом зазвенел засов,
Вот и всё — и кончилась любовь.
Он хрипел, он горло разрывал,
С камеры своей им кричал:
«Выверните девочку мою!
Ведь её же сильно я люблю!»
В коридоре услышал он крик,
Будто чёрный ком к душе прилип.

Сергей пел, и голос его рос, креп, рвался. Он уже не пел — кричал. Не от себя, от того парнишки, который был в песне, который кричал из камеры, который рвал горло, который не мог ничего, только кричать. И этот крик шёл сквозь подвал, сквозь стены, сквозь всех, и каждый чувствовал его, как свой. Потому что каждый кричал. Каждый кричал внутри, всегда, каждый день. Только вслух не мог. А сейчас Сергей кричал за всех, и от этого было легче и тяжелее одновременно. Легче — потому что не один. Тяжелее — потому что не один.

Он кричал, он рвался всё туда,
Может, там случилась с ней беда?

Тут Нина не выдержала. Она резко отвернулась к стене, уткнулась лбом в кирпич и — Сергей это видел, все видели — ударила кулаком по стене. Один раз. Тихо. Потом второй. И по стене поползла тёмная полоса. Кожа на костяшках лопнула, и кровь проступила, тёмная, густая, и Нина не отнимала руку, и не смотрела, и стояла, и дышала, и плечи её дрожали, но звука не было. Ни звука. Только удары. Тихие, ритмичные, как капли. Как метроном. Удар. Удар. И тишина между.

— Нин, — Столька шагнул к ней.

— Не трогай, — сказала она глухо, не оборачиваясь. — Не надо.

Столька остановился. Стоял рядом, не прикасаясь, не уходя. Просто рядом. Он знал, когда можно трогать, а когда нельзя. Это знание было не из книг, не от психолога, не из методичек. Это знание было от жизни. От ночей, когда Нина плакала и он лежал рядом и молчал. От утр, когда она просыпалась с каменным лицом и он не спрашивал, как спала. От того, что между ними было что-то, чему не было названия, и не нужно было название, потому что название уменьшало, а это не уменьшалось.

Сергей на секунду замолчал. Пауза. Длинная, тяжёлая, как камень. Он смотрел на Нину, на её спину, на сжатые кулаки, на тёмную полосу на стене, и думал: вот. Вот что делает песня. Не музыка, не слова. А то, что внутри. То, что выходит, когда больше нет сил держать. И он продолжил. Тише. Медленнее. Как шаги человека, который идёт к концу и знает, что идёт к концу.

В камеру конвои забежали,
С автомата зэка расстреляли.
Растерзало тело от свинца,
В этот час поникла тишина.
Наутро рапорт зачитали,
В нём расписался генерал.
За тяжёлый этот преступлением —
Расстрел был приговором ему.

Никто не двигался. Никто не говорил. Сашка сидел, открыв рот, и в глазах у него было что-то, чего не должно быть у девятилетнего — понимание, что мир устроен так, и это не изменится. Не возмущение, не протест, не слёзы. Понимание. Тихое, тяжёлое, как свинец. Мир устроен так. Любовь погибает. Справедливости нет. И ты ничего не можешь. Ничего. Кроме как сидеть в подвале и слушать, как кто-то поёт про то, что и так знаешь.

Толя сказал первым — тихо, севшим голосом:

— Вот так. Вот так и живём.

Никто не ответил. Не потому что нечего, а потому что это было всё. «Вот так и живём» — это было всё, что можно сказать. Всё, что было правдой. Всё, что оставалось.

Петька молча встал и вышел. Никто не пошёл за ним. Все знали — ему надо побыть одному. Петька не плакал. Петька не говорил. Петька уходил, когда было тяжело, и возвращался, когда становилось легче. Или когда не становилось, но возвращаться надо было, потому что вечером надо было идти на вокзал, и некогда было тяжело. Так было устроено. Тяжело — выйди. Вернись — иди работай. Нekoгда ломаться. Нekoгда жалеть. Нekoгда.

Вера тихо плакала, глядя медведя по голове. Пальцы её гладили плюшевую шерсть, и движения были ровные, машинальные, как у матери, которая укачивает ребёнка. Она не укачивала медведя. Она укачивала себя. Себя и медведя. Себя через медведя. И слёзы капали, и она не вытирала, и медведь намок, и ему было всё равно, потому что он не пил и не бил, и один глаз его смотрел в темноту, и в этом глазу была вся правда, которую Вера не могла сказать словами.

Нина стояла лицом к стене. Столька стоял рядом с ней, не прикасаясь, просто рядом. Его лицо было лицом часового, который знает, что пост долгий, и что смены не будет, и что стоять надо. Просто стоять. Молча. И он стоял.

Глава 8. После песен

Сергей смотрел на всех их и молчал. Да, он любил заговаривать романы — любовные, жизненные. Ему нравилось, как девчонки плачут, как пацаны притихают, как на какое-то время

всё зло, вся грубость, вся ругань исчезают, и остаются просто люди — маленькие, напуганные, одинокие. Может, он делал это специально. А может, просто не умел сказать иначе, что тоже больно, тоже страшно, и тоже хочется, чтобы кто-нибудь обнял.

Он не умел говорить «мне больно». Не умел говорить «я боюсь». Не умел говорить «обнимите меня». Он умел петь. И через песню — всё это выходило. Боль, страх, одиночество. И не только его — всех. Его голос был как труба, через которую шло то, что каждый держал в себе. И когда он пел, все чувствовали: не он один. Не он один такой. И от этого — легче. Маленько. На время. Но легче.

Он положил гитару рядом с собой, откинулся к стене и закрыл глаза. Стена была холодная, шершавая, и от холода шёл по спине озноб, но он не двигался. Лежал, и глаза были закрыты, и руки лежали вдоль тела, и пальцы ещё помнили струны, ещё гудели, как эхо. Он был пуст. Выжат. Как лимон, из которого выжали всё, и осталась только кожа. Но в этой пустоте было что-то хорошее. Лёгкость. Как после слёз. Как после крика. Как после того, когда сказал всё, и больше не надо.

— Серый, — позвал Сашка шёпотом.

— Чего.

— А ты где маму потерял?

Сергей открыл глаза. Сашка сидел рядом, обхватив колени руками, и лицо у него было серьёзное, внимательное, как у взрослого, который задаёт важный вопрос. Только глаза — детские. Большие. Испуганные. И от этого вопроса — от этого простого, детского вопроса — Сергею стало тяжелее, чем от всех песен вместе взятых. Потому что песня — это песня. А вопрос — это вопрос. И на вопрос надо отвечать.

— Не знаю, — сказал Сергей. — Не помню. Совсем.

— Совсем-совсем?

— Совсем.

— И лица?

— И лица.

Сашка помолчал. Потом сказал:

— Я тоже. Я помню — запах. Какой-то. Может, мыло. Может, духи. Может, ничего. Но — запах. А лица — нет.

Они лежали рядом, и каждый думал о своём. О матери, которой нет. О лице, которое стёрлось. О запахе, который, может, придуман. О том, что у них нет того, что есть у всех. И от этого «нет» — пустота. Не та пустота, которую можно заполнить едой, лак, сном. Другая. Глубокая. Дно которой не видно. И на дне — ничего. Просто — ничего.

Сашка заснул первым. Свернулся калачиком, натянул на себя Сергеев шарф и затих. Во сне он сосал большой палец — привычка, от которой не отвык, и может, не отвыкнет никогда. Сергей смотрел на него и думал: вот. Девять лет. Сосёт палец. Как младенец. Потому что внутри — младенец. Внутри всех них — младенец, которому нужна мама, а мамы нет. И палец — замена. И шарф — замена. И медведь — замена. И лак — замена. Всё — замена. Всё вместо. Вместо того, что должно быть и не было. Вместо того, что нужно и нет.

Столька спал сидя, прислонившись к стене, как часовой. Он всегда так спал — сидя, не ложась, будто охраняя. Охранял Нину. Охранял всех. Столька был из тех, кто и во сне оставался начеку. Глаза приоткрыты, дыхание ровное, но тело — готовое. В любой момент встать, в любой момент ударить, в любой момент бежать. Так спали те, кого били ночью. Те, от кого ждали удара во сне. Стольку били. Не здесь — раньше, до подвала, до вокзала. Где — он не говорил. Кем — не говорил. Но тело помнило. Тело не ложилось. Тело стояло на страже, даже когда голова спала.

Сергей не ответил. Только положил руку Сашке на голову, и Сашка затих, и оба лежали, и капли падали, и подвал дышал, и ночь шла, и где-то наверху грохотал последний трамвай, и потом затихал, и мир засыпал, и они засыпали, и во сне не было ни песен, ни слёз, ни мамы, ни забора. Только сон. Тёмный, глухой, мокрый, как подвал. Но сон. И это было достаточно. Пока.

Глава 9. Размышления

Сергей лежал после хорошего вечера. Гитара уже была возвращена Кочегарову — Толя отнёс её утром, пока все ещё спали. Толя встал затемно, тихо, как умел, чтобы никого не разбудить, аккуратно убрал гитару в чехол и ушёл. Вернулся через полчаса, лёг и снова уснул. Сергей проснулся, когда тот вернулся, но не открыл глаз. Знал, что Толя справился. Толя всегда справлялся. Он был из тех, кто делает. Не говорит — делает. Молча, без вопросов, без жалоб.

Подвал был тихий, сырой, привычный. Запах плесени и земли, капающая с потолка вода, мерный храп Толи в углу — всё это было знакомо, почти уютно. Почти — потому что уютом это могло показаться только тому, кто никогда не спал в нормальном доме, в нормальной постели, под нормальным одеялом. Для Сергея этот подвал был домом. Единственным. И эта ночь — тёплая, после песен, после слёз, после общих объятий — была хорошей ночью. Таких было мало. Таких берегли. Не как вещи — как воспоминания. Как то, что можно достать из памяти, когда плохо, и поддержать, и погреться.

Но ему не спалось.

Он лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в потолок — в ту самую точку, где сырость проступала тёмным пятном, похожим на контур какой-то страны. Он давно это пятно изучил — каждый изгиб, каждую полоску. За долгие ночи в этом подвале он научился находить в трещинах на потолке целые карты — материки, океаны, реки. Вот тут, слева, — Африка. Вот тут, по центру, — что-то вроде Южной Америки. А вот тут, прямо над ним, — остров. Маленький, одинокий. Как они все.

Он думал: вот остров. Один. В океане. Вокруг вода. И на острове — они. Все. И вода — это город. Город, который не замечает, который течёт мимо, который живёт своей жизнью, в которой нет острова. Город, в котором есть дома, квартиры, кухни, спальни, детские комнаты

с кроватками и ночниками, где мамы сидят на краю кровати и читают сказки. А на острове нет сказок. На острове есть подвал, лак, хлеб с вокзала и песни. И этого достаточно. Пока.

Рядом посапывал Сашка, свернувшись калачиком и укрывшись Сергеевым шарфом. Шарф был длинный, серый, вязаный, и Сашка в нём утопал, как в одеяле. Во сне Сашка сосал большой палец — привычка, от которой не отвык, и может, не отвыкнет никогда. Сергей видел это и думал: вот. Девять лет. Сосёт палец. Как младенец. Потому что внутри — младенец. Внутри всех них — младенец, которому нужна мама, а мамы нет. И палец — замена. И шарф — замена. И медведь — замена. И лак — замена. Всё замена. Всё вместо. Вместо того, что должно быть и не было. Вместо того, что нужно и нет.

Нина. Одиннадцать лет. Маленькая, резкая, с кулаками и длинными тёмными косами. Сергей думал: вот Нина. Нина, которая матерится круче любого пацана. Нина, которая бьёт в стену, когда слышит про любовь. Нина, которая не плачет. Нина, которая плачет. Он видел. Он слышал. Он знал. И он знал, почему она плачет — не от песни. От того, что песня напомнила. О чём — он не знал. Не спрашивал. Не имел права.

Однажды, давно, когда Сергей только пришёл в общину, он сидел вечером у котельной и курил. Нина подошла, села рядом. Молча. Закурила. Они сидели и курили, и молчали, и дым уходил в небо, и звёзды были, и ночь была, и было почти хорошо. Почти.

— Серый, — сказала Нина, не глядя на него. — Ты из спецшколы. А я из дома. Знаешь, в чём разница?

— В чём?

— В спецшколе вас кормят. Там каша, там кровать, там забор. А на улице — нет. На улице — ничего. Ты сам. Совсем. И если ты не найдёшь еду — ты умрёшь. Не завтра, не через неделю. Но медленно. Понемногу. Каждый день чуть-чуть. И ты чувствуешь, как умираешь, и продолжаешь, и не знаешь зачем.

Сергей молчал. Что ответить? Она была права. Она была правнее, чем хотела быть.

— А знаешь, что самое страшное? — продолжила Нина. — Самое страшное не голод. Не холод. Самое страшное — когда ты понимаешь, что тебе никто не нужен. Вот совсем. Не маме, не папе, не государству. Никому. Тебя нет. Ты как привидение. Ходишь, дышишь, ешь, спишь — и тебя нет. И мир живёт, и люди ходят, и трамваи гудят, и ничего. Тебя нет. И когда ты это понимаешь — вот тогда страшно. Тогда — о стену. Тогда — кулак. Тогда — сигарета. Иначе — никак. Иначе — разорвёт.

— Нин, — сказал Сергей. — Ты нужна. Нам нужна. Тут.

Она посмотрела на него. Долго, прямо. И на секунду в её глазах мелькнуло что-то — не улыбка, не тепло, что-то другое. Может, узнавание. Может, благодарность. Может, просто: ты тоже это знаешь. Ты тоже. И от этого — не один. Не одна. Она затушила сигарету, встала и ушла. Не ответив. Но и не отвергнув. Просто — ушла. И наутро была как всегда: резкая, короткая, с матом. Но. Но.

Сергей лежал и думал. Думал о Вере, о Нине, о Сашке, о Толе, о Петьке, о Стольке, о Димоне, о Гене. О всех. О каждом. У каждого была своя история, своя боль, свой ад. И все эти истории были разные, но в одном были одинаковы: у всех не было. Не было дома. Не было мамы. Не было того, что есть у других, у нормальных, у тех, кто ходит в школу и возвращается домой. У всех было «без». И «без» было тем, что объединяло их, что делало их общиной, семьёй, племенем. «Без» было их клановым знаком, их татуировкой, их паролем. «Без» — и ты свой. «Без» — и тебя понимают. «Без» — и тебе не надо объяснять.

И Сергей думал: вот Вера. Вера, которая шьёт. Которая носит медведя. Которая говорит «он не пьёт и не бьёт». Что было в её доме, если плюшевый медведь с одним глазом — лучше, чем то, что было? Что было в её доме, если подвал, лак, голод — лучше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.